К 125-летию со дня рождения писателя

Странный Горький

Писали, что он заключил договор с дьяволом. Скажем легче: Горький был инопланетянином...

Павел БАСИНСКИЙ

ПО-НАСТОЯЩЕМУ его никогда не любили. Именно в этом его главная трагедия. Каким-то странным холодом веет от всей его шумной биографии, где было столько разного, но, кажется, не нашлось места ничему «слишком человеческому», ничему такому, о чем можно было бы вспомнить со слезой или улыбкой. Каждое событие в ней слишком значительно, чтобы сойти просто за милую случайность, без которой жизнь теряет очарование. Вот Владислав Ходасевич писал о странной нелюбви Горького к правде, доходившей до смешного... А мы тотчас вспоминаем, каким несчастьем это обернулось для страны и для писателя в конце 20—30-е...

Последние месяцы, дни и часы Горького наполнены какой-то **жутью**. От этого невольно стараешься отвести глаза, если еще осталось в тебе чувство духовного сохранения. Какие-то «личности» — Ягода, Сталин, Молотов — возле постели умирающего русского писателя пьют шампанское — б-р-р! — это не так страшно, как именно противно душе. Нижегородская подруга Горького Е. Кускова писала об этом: «Но и над молчащим писателем... они стояли со свечкой день и ночь...» Они сторожили его последний вздох. «Мы вместе. Ты наш». И опустились руки.

Наивно думать, что возвращение Горького в СССР и дальнейшие события оказались следствием чего-то определенного: какой-то «ошибки» или какого-то «подкупа»; что история с чемоданом, в котором хранился тайный архив писателя, прольет свет на логику «конца Горького». Все ведь и без «чемодана» ясно и, может быть, потому непонятно. Дело в том, что в эмиграции Горькому **не было места.** Это хорошо понимали и он сам, и его современники. Опять же Кускова писала: «Горький — знатный эмигрант мог бы быть очень богатым, если бы он был в силах *стать* эмигрантом».

Но пойдем дальше и подумаем: а было ли ему место в СССР (скажем, в «буче, боевой кипучей» молодых советских писателей или на скорую руку сшитой харизме сталинской власти)? Мы все-таки не найдем точного ответа, и придется оставить его на потом, когда, мол, «все будет известно». Пожалуй, вот главная особенность биографии Горького: все линии его судьбы не имеют конца, обрываются в черную пустоту, как и сюжет его последнего романа, который читаешь, читаешь и кажется: вот-вот схватишь его смысл... но нет... и наконец плюнешь... и оставишь «на потом».

Странная все-таки была фигура. Самое начало его жизненного пути отмечено роковой печатью. В возрасте 3 лет в Астрахани заболел холерой и заразил ею отца (симпатичного, по воспоминаниям, человека), который в конце концов и умер, словно подарив сыну свою жизнь. Мать, Варвара Васильевна, не имела на мальчика никакого влияния, **не любила** (считая причиной смерти обожаемого мужа) и потому, выйдя замуж второй раз, сдала его на руки бабушке и дедушке. Дед, Василий Васильевич Каширин, был богатым в Нижнем Новгороде человеком, из бывших бурлаков (настоящий self-made-man, писал Е. Замятин), а бабушка, Акулина Ивановна, простой русской женщиной, «Ариной Родионовной»; она-то и напитала мальчика необходимой энергией любви, без которой не может жить даже очень крепкая личность. Но Каширины быстро разорились, Варвара Васильевна умерла от чахотки, и Алешу отправили «в люди» (то есть выставили за дверь).

«В люди» — это не просто так сказано. Если почистить за давностью лет потускневший смысл этого слова, обнажится первая черная дыра в сознании Горького. Это необходимо понять

по принципу **остранения.** Если можно находиться «в людях», значит, возможно быть и где-то еще («в не людях» — что ли?). «Люди — это не просто среда обитания, которую не замечаешь (как воздух), но именно — материальное пространство, в которое заброшен мальчик **по чьей-то воле.** По чьей же? На этот вопрос нет ответа. Но в любом случае это была недобрая воля, если девизом молодого человека стало: «Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться...»

Существует притча о двух лягушках, которые попали в кувшин со сметаной. Первая сложила лапки и утонула. А вторая колотила лапками до тех пор, пока сметана не превратилась в масло. Может, это не слишком приятно звучит, но Горький по натуре был именно второй лягушкой. Когда судьба выбросила его «в люди», он **месил** внезапно окружившее его пространство, пока оно не сдалось и не дало «чужаку» места на земле.

Вот хроника его странствий по Руси за 1891 год. Уходит из Нижнего. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ. Посещает Казань, Царицын, живет на станции Филоново Грязе-Царицынской ж/д. Приходит в Ростов-на-Дону, работает грузчиком. Из Ростова идет в Харьков. Из Харькова — в Рыжовский (Куряжский) монастырь, затем в Курск. Из Курска идет в Задонск. Посещает монастырь Тихона Задонского. Идет в Воронеж. Возвращается в Харьков. Идет в Полтаву, из Полтавы через Сорочинцы — в Миргород. Посещает Киев. Идет в Николаев. Приходит в село Кандыбово Николаевского уезда. Избит мужиками. После николаевской больницы идет в Одессу. Проходя Очаков, работает на добыче соли. Путешествует по Бессарабии, возвращается в Одессу. Идет в Херсон, Симферополь, Севастополь, Ялту, Алупку, Керчь, Тамань. Приходит на Кубань. Арестован в Майкопе «как проходящий». Беслан, Терская область, Мухет. Снова арестован. Идет в Тифлис. Работает в мастерской.

В конце концов судьба вынесла его «в газетчики», а потом «в писатели». И здесь он снова был чужаком. Как бы ни ласкала его на первых порах интеллигенция, какие бы банкеты ни давались в Петербурге в его честь (где тосты поднимали не кто-нибудь, но П. Н. Милюков, П. Б. Струве, В. Г. Короленко, М. И. Туган-Барановский) — его все-таки держали за «гостя»; правда, за такого, с которым нужно быть ласковым, ибо Бог его знает, кто он, откуда и зачем. Л. Толстой сначала принял Горького за мужика и говорил с ним матом, но затем понял, что сел в лужу. «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу, — жаловался он Чехову. — Горький — злой человек... У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу».

Горький платил интеллигенции той же монетой. В письмах к И. Репину и Толстому пел гимны во славу Человека: «Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека...»; «Глубоко верю, что лучше человека ничего нет на земле...» И в это же самое время писал жене: «Лучше б мне не видать всю эту сволочь, всех этих жалких, маленьких людей...» (это о тех, кто в Петербурге поднимал бокалы в его честь). Или: «Я видел вчера, как Гиппиус целовалась с Давыдовой. До чего это противно!»

КОГДА он был искренен? Никто не ответит на это, положа руку на сердце. Леонид Андреев, уже будучи в эмиграции, вспоминал, как на квартире писателя Н. Телешова в Москве собирались И. Бунин, А. Серафимович, В. Вересаев, Б. Зайцев и другие, объединившись в кружок под названием «Среда». Иногда приезжали из Петербурга Горький и Шаляпин. И вот в отсутствие Горького всегда заходил разговор о нем и его искренности. Спорили до хрипоты. Однажды Вересаев не выдержал и сказал: «Господа! Давайте раз и навсегда решим не касаться проклятых вопросов. Не будем говорить об искренности Горького...»

«Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел... Лукою, лукавым странником», — писал В. Ходасевич. Это так же верно, как и то, что он был странником во всем и везде, будучи связанным с Лениным, Чеховым, Брюсовым, Розановым, Морозовым, Гапоном, Буниным, Арцыбашевым, Гиппиус, Маяковским, Панферовым, реалистами, символистами, священниками, большевиками, эсерами, монархистами, сионистами, антисемитами, террористами, академиками, колхозниками, гэпэушниками и прочими людьми на этой грешной земле, где только ему не нашлось места. «Горький не жил, а осматривал», — заметил Виктор Шкловский. А что ему оставалось делать?

Все в нем видели «Горького», то есть не человека, но персонаж, который он сам же придумал, находясь в Тифлисе в 1892 году. И он тоже, взирая на себя со стороны, видел «Горького», а не Пешкова. В конце концов именно «Пешков» оказался персонажем, то есть случилась крупная подмена, ибо никакого Горького на самом деле не было, а была только не совсем удачная «придумка» молодого уездного литератора. Между тем уже в ранних письмах к жене (самых искренних) он писал о себе в третьем лице: «Прежде всего Пешков недостаточно прост и ясен, он слишком убежден в том, что не похож на людей... Фигура изломанная и запутанная...» И это не простая рисовка, в этом есть что-то серьезное и даже страшное, как и в его психологической недоверчивости к людям и к миру в целом.

Он похож на слепого из «Тамани», когда его бросили на берегу моря с медным пятаком в руке. «И только?» Он не видел, но именно **ощупывал** этот мир, поражаясь каждой его выпуклой детали, каждой трещине, каждому звуку; но самое главное — он искал **какого-то человека**, чтобы задать ему **какой-то вопрос.** Поэтому Горького так странно читать. Во всех его сочинениях есть что-то мучительное, психологически недостоверное, а вместе с тем вещественное изображение реальности иногда достигает гениальности, ну, скажем, в «Климе Самгине», Безусловно, это был великий художник из породы фламандских мастеров, и некоторые сцены в его последнем романе (например, чаепитие в доме Самгиных или Петербург после Кровавого воскресенья), темнея со временем, приобретают особенную выразительность.

Юрий Трифонов как-то сравнил Горького с лесом, где есть и звери, и люди, и грибы, и деревья, и сучья. Но ему больше подходит сравнение с чуланом, в котором каждый предмет можно понять только на ощупь и лучше всего — с закрытыми глазами. В то же время Горький видел то, чего не могли видеть другие в зрячем своем состоянии. Например, людей «наедине с собой». В 17-м томе его сочинений есть такие эпизоды, которые сначала вызывают улыбку, а затем — мистический холодок. Например:

«Отец Ф. Владимирский, поставив пред ссбою сапог, внушительно говорил ему:
— Ну, — иди!
Спрашивал:
— Не можешь?
И с достоинством, убежденно заключал:
— То-то! Без меня — никуда не пойдешь!»

Или:

«В фойе театра красивая дама-брюнетка, запоздав в зал и поправляя перед зеркалом прическу, строго и довольно громко спросила кого-то:
— И — надо умереть?»

Конечно, он любил человека, но «странною любовью». В ней было все: и мука, и страсть, и радость, и «рыданьице в голосе», говоря словами Набокова. И, конечно, «Двадцать шесть и одна», или «Коновалов», или «Страсти-мордасти» навсегда останутся среди вершин русской сентиментальной прозы. Но все же это была любовь прохожего к **чужим детям.** Зачем он вечно **следил** за людьми, не делая в этом между ними никакого различия (будь ты хоть извозчик, хоть уголовник, хоть Лев Толстой)? Зачем сочинил странную сказочку о Человеке, в которую сам же первый и не верил, но как-то вынужденно повторял ее целую жизнь. Миф о Человеке, вообще говоря, весьма сомнителен; недаром страстный монолог в его защиту произносит карточный шулер Сатин и рисует при этом рукой в воздухе какую-то странную фигуру (есть в «На дне» такая ремарка)... Что это за фигура? Современник писателя эмигрант И. Д. Сургучев не в шутку полагал, что Горький однажды заключил договор с дьяволом — тот самый, от которого отказался Христос в пустыне. «И ему, среднему в общем писателю, был дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лев Толстой, ни Достоевский. У него было все: и слава, и деньги, и женская лукавая любовь».

Может быть, и верно. Только это не нашего ума дело. А потому скажем легче: Горький был **инопланетянином.** Вот почему его не любил Толстой, вот откуда все его «странности» и все его «маски» (от внешности мастерового до выражения лица Ницше, которое он примерил напоследок). Его крупные вещи напоминают талантливый отчет о служебной командировке на Землю. Все замечено, ничего не упущено; вот она, эпоха русской революции, «как живая». И отсюда же главный сюжет в творчестве Горького — он сам, его муки (воистину — земные) и его трагедия. Это трагедия **вочеловечения.** С болью и кровью... и все-таки не до конца.

Как же ему стало легко, когда его «отпустили»! Как быстро он распрямил свои, допустим, крылья, чтобы окунуться в космическую бездну по дороге домой! Как было, наконец, чисто в его душе! И, конечно, ученые мужи на его планете, прочитав отчет, все-таки спросили:

— Видел человека?
— Видел?
— Какой он?
— О-о... Это великолепно! Это звучит гордо! Это я, ты, Наполеон, Магомет и другие вместе.
— А выглядит-то как?

И он нарисовал рукой странную фигуру.